

Оправдание знания

О каждом из нас говорится в притче о талантах. И нужно сознаться, есть что-то роковое и притягательное в соблазнах лукавого и ленивого раба. Труден и тесен путь христианской жизни, всегда есть склонность облегчить, упростить его для себя. Так рождается ложное и уклончивое смирение, смирение от малодушия и испуга. В существе своем оно есть не что иное, как дерзость. Ибо разве не дерзость помышляет в сердце своем, будто Господь требует от нас чего-то лишнего, без чего и можно, и лучше обойтись? Разве не дерзость укрываться от Божия зова в своей немощи и бессилии? От такого мнимого, пугливого смирения часто еще труднее освободиться, чем от прямой дерзости. Приходится бдительно испытывать самих себя, следить за собою, чтобы в самом отречении и смирении найти праведную и четкую меру.

Есть соблазн опрощения. В последнем счете он сводится к воздержанию от творческого участия в тех или иных определенных областях жизни. Для такого воздержания бывают разные основания — иногда отрицание возможности воцерковления и освящения определенных сторон жизни, иногда признание их безразличия или их естественной, не преображенной правды. Все эти мотивы перекрещиваются друг с другом. Практически аскетическая брезгливость или подозрительность оборачивается своеобразным попустительством, пафосом обмирщения. Освобождение некоторых областей жизни от обязательства полного и преискренного воцерковления в последнем счете равнозначно изъятию их из-под религиозного испытания и наблюдения, оставлению их на свободе и произвол не преображенных, неосвященных природных сил. В действительности, это есть замолчанный отказ от освящения и преображения мира. Это не значит, что неправожден аскетический путь, путь отречения от мира. Но есть аскетизм праведный и есть аскетизм неправожденный. Истинный, подлинный, христианский аскетизм мужествен, не есть бегство или отказ от мира, не есть забвение о нем. Правожденный аскетизм — это наступление на

мир, ради обновления и восстановления той благословенной правды, которая есть во всей твари, созданной Божественной любовью и помазанной Божиим благоволением. Истинный аскетизм есть не только борьба с миром, но и борьба за мир — с тем, чтобы ничто в мире не осталось не преображенным, не возвращенным ко Христу, к Отцу Небесному. И вдохновляется такой подлинный аскетизм именно любовью ко всей твари. В нем нет места для безгливости и гнушения. Гнушение миром есть языческий соблазн, питаемый каким-то странным дерзким малодушием. Часто он вспыхивает бессознательно и прикрывается благочестивыми оправданиями. И тем более нужно обнажать, разоблачать его.

Соблазн опрощения, как и все соблазны, многообразен; в разные времена он раскрывается по-разному. Но с особенною остротою, кажется, открывается он в области мысли, в области разума. Здесь он особенно хитро и двусмысленно маскируется и прикрывается. В наши дни именно в этой области он оживает с новой силой и порождает множество недоразумений, которые не так-то легко и просто рассеять.

В своей книге «Об ересьх вкратце» преп. Иоанн Дамаскин среди лжеучений называет между прочими *ересь гносимахов*. Гносимахи — это враги знания, «борющиеся со знанием». По-русски их можно назвать старинным резким, но выразительным именем *невегласов*. Невегласы — это невежды и простецы, гордые и самодовольные своим неведением и невежеством, и не только не стремящиеся его духовно перерости, но с упрямым подозрением отвергающие самую надобность и допустимость знания. По характеристике Дамаскина, «они отвергают необходимость для христианства всякого знания. Они говорят, что напрасное дело делают те, кто ищет каких-либо знаний в божественных писаниях, ибо Бог не требует от христианина ничего, кроме добрых дел. Итак, хорошо, чтобы всякий жил возможно проще и не заботился ни о каком догмате, относящемся к знанию»... Об этих древних гносимахах мы не знаем никаких исторических подробностей.

Речь идет не о каком-то определенном и органическом историческом движении, не о замкнутой секте, но о типическом и повторяющемся соблазне религиозного самоопределения. На первый взгляд для многих даже не видно и непонятно, *что* в этом отвержении знания еретического, обманного, лживого. Не в таких ли и подобных суждениях так часто многие из нас искренно думают исповедовать свое благочестие и благоговение, свое смирение и воздержание от суетных мудрований, от напрасных и препретельных словес... Разве не в простоте, не в «нищете духовной» правый путь, путь блаженств евангельских? Разве «буйством проповеди» не посрамлена и не отменена «мудрость мира»? И не говорил ли еще Тертуллиан, что «нет нам нужды в любознательности после Христа Иисуса и в исследовании после Евангелия». Ибо верую прекращается искание. И для многих из нас кажется и покажется неожиданным и странным, что именно вера и благочестие утверждают *необходимость знания* и налагают на каждого *долг познавать*. В лучшем случае мы склоняемся видеть в познании нечто сверхдолжное, допустимое, но небезопасное излишество, роскошь для немногих, для любителей. И редко кто понимает, что долг познания входит необходимым слагаемым в состав всеобщего и всеобязательного христианского послушания.

С древних пор и до нашего времени знание приходится защищать от подозрений. Для этих подозрений есть видимые основания. Несомненно, что область знания полна трудностей и соблазнов, что в самом познавательном пафосе есть всегда внутренняя опасность извращения, самонадеянности, горделивого самопревозношения. Правда и то, что исторически «знание» слишком часто оборачивается против веры и благочестия, ведет на веру наступление и поход. Но в этом сказывается только общая диалектика и лукавство греха, проникающего во все области человеческого существования и жизни. Мысль часто согрешает, но можно ли сказать, что самая мысль греховна? Допустимо ли снимать с разума долг воцерковления и лишать мысль права на освящение? В подозрительности к разуму бессознательно

оживает в тонком виде древняя аполлинариева ересь. Аполлинарий Лаодикийский полагал, что мысль человеческая необходимо согрешает и «невозможно, чтобы не было греха в помышлениях человеческих», и потому отрицал во Христе Богочеловеке наличность человеческого ума. В борьбе с Аполлинарием великие отцы IV-го века с полной ясностью обличили заблуждение и погрешность аполлинариевых мудрований. Разум, «владычественное в нас», в составе целостной и полной человеческой природы был воспринят Воплотившимся Словом, и чрез это уврачеван, исцелен. Для разума не только открылся, но и стал необходимым, обязательным путь освящения или, как предпочитали говорить древние отцы, «обожения», путь полного и преискренного сообразования со Христом, с «умом Христовым». Познание отныне входит в состав религиозного делания, в состав христианского самоосуществления каждого человека, каждого верующего, — познание Бога в Его откровении, в делах Его, познание всего существующего, как дела рук Божиих, Его премудрости и любви. Никто не смеет снять с себя этой задачи и призвания; уклонение от нее есть несправедливое самоущербление, нарушающее цельность человеческого существа. История святоотеческой мысли есть яркое свидетельство и пример того, как освящался и воцерковлялся разум, как истина Христовой веры раскрывалась именно как «свет разума», как разум истины и истина разума. Истины веры превышают меру естественного разума и неведомы в своей последней полноте. Но это скорее таинство, нежели тайна, — таинство высочайшей премудрости и разума, озаряющее и освещающее бесконечным ведением и смыслом тварную мысль. В отеческом любомудрии, т.е. в благодатной философии, «апостольское проповедание» раскрывалось именно как «свет в просвещение языков», как высший смысл и ведение. Было бы несправедливой погрешностью преувеличивать педагогический мотив святоотеческого учительства. Иногда говорят, что философствовали святые отцы по нужде, для отражения ложных человеческих мудрований; они только приспособлялись к неизбывной слабости беспокойной мысли и

облекали истины веры в умозрительную ризу. В таком суждении нет не только правды, но и правдолюбия. Святые отцы потому и боролись с кривомыслием, что для мысли есть правая мера, и мера не молчания и умирения, но мера исповедания и обновления откровенным светом. Не косною памятью, но творческим восприятием должна усваиваться откровенная истина, как закваска действительного преображения взыскующего Истину человеческого ума. Для великих учителей древней Церкви умозрительное Богопознание было образом благочестия, образом Богопочтения и Богослужения, — и в этом на все времена установлена непреложная мера и мерило. Не случайно, что печатью яркого богословского ума запечатлено все церковное богослужение, что древние молитвословия непрестанно пробуждают именно и мысль, призывают и ее к хвалительному созерцанию. Творения великих подвижников и аскетов православного Востока пронизаны изнутри пафосом умозрения и познания, и очищение ума есть одна из последних и высших задач подвижнического дела. Очищение, но никогда не отсечение; преображение, но никогда не пренебрежение... «Можно ли равнодушно видеть многих из чад веры, живущих в таком неведении о том, во что они веруют, что им точно можно сказать сказанное Самарянам: *вы кланяетесь, Его же не весте* (Иоан. IV, 22)», — так спрашивает в одной из проповедей своих приспомятнный Филарет Московский. И в другом слове поучает: «Если и напротив скажут тебе, что стремление к совершенству есть мечтательство, что любовь к мудрости есть дерзкое мудрование, что размышление о вере, поучение в законе Божиим, чтение слова Божия, им не нежно или опасно: вслушайтесь внимательно, походит ли сие на глас Ангельский, на учение духовное, на проповедь небесную? Сличите с ним истинный и чистый глас пророческий: *блажен муж, его же воля в законе Господни, и в законе Его поучится день и ночь* (Пс. 7, 2). Сличите с сим учение Божественного Учителя: *испытайте писания* (Ин. V, 39). Сличите с сим проповедь Апостола: *слово Христово да вселится в вас богатно во всякой премудрости учаще и вразумляюще себе*

самих (Кол. III, 16). Сличите с сим пример Марии: никто не запретил юной деве Израилевой читать книгу Исая пророка и над нею размышлять о Еммануиле... Ибо христианство не есть гордость или невежество, но Божия мудрость; и удаляясь от мудрости, куда приближается человечество? Разве к бессловесной природе?»?

Конечно, путь христианского ведения есть путь смирения, и начинается самоиспытанием, познавательной аскезой. Но сознание немощи и ограниченности естественных познавательных сил не должно перерождаться в мнительность, подозрительность и испуг. Смирение закаляется и укрепляется верующей надеждой. В пугливой мнительности нет духовной твердости. Напротив, за нею скрывается загнанная вглубь болезнь, как бы «разум» не спугнул веры, не разложил непосредственной цельности души. Это своего рода бегство в неведение и бегство по маловерию. Подлинная вера не смущается и не боится; она полна дерзновения в своем смирении, ибо полна надежды. И «исследование» не становится излишним от веры, не отменяется «уверенностью в невидимом как в видимом». Разум призван к возрастанью, к деланию, а не ко сну и смерти. Познавательное опрошение тем более опасно, что разум и мысль не могут заснуть и смолкнуть. Самая подозрительность к мысли есть уже размышление. И уклонение от прямого и откровенного познавательного делания, в действительности, оборачивается не чем иным, как распушенностью и беспризорностью мысли, произволом и обмирщением. Нельзя каждому в равной мере вменять долг богословского раздумья, и никогда не следует забывать о трезвении и бдении ума. Но опрошение не есть простота, и подлинная простота ума приобретает в великом умном подвиге, а не дается от рождения сразу. И есть что-то в полном смысле противоестественное, когда люди, живущие умственной жизнью и даже избирающие ее себе в удел, только на богословие налагают лукаво-смиренный запрет. В действительности, богословствуют и они, и богословствуют часто криво и по произволу, совершая беспечный и безответственный разбор в священной сокровищнице предания и веры. Как

часто встречаются в среде таких «гносимахов» прикрытые и неопознанные заблуждения и лжеучения, по одной прикровенности своей никогда не преодолеваемые и не изживаемые... Какая смута понятий открывается в современном сознании, нисколько не умиряемая внешним держанием за христианские формы... В суровые судные часы общественной жизни это немощное невегласие сказывается в тяжелых потрясениях и соблазнах. Много примеров приводить не приходится. Достаточно напомнить немногое. Как часто по произволу зачеркивается чуть ли не вся ветхозаветная история, как нечто несущественное в деле спасения, и этим незаметно искажается весь смысл Божественного домостроительства. Как смутно представляется самый Богочеловеческий лик сына Божия, ставшего Сыном человеческим, и весь смысл Его дела сводится к нравственной проповеди... Как мало переживается тайна Церкви и жизнь таинств... Как беспомощно кружится мысль вокруг вопросов о зле, о загробной жизни... На все эти вопросы не может не отвечать себе человек, и под предлогом благоговения отвечает на них вкривь и вкось, действительно, волнуясь всяким ветром учения. И еще хуже, если от испуга он действительно уклоняется от этих вопросов, погружается в безразличный сон. Как многие близки к бессознательномуадогматизму в вере, к догадке, что в благочестии самые догматы не нужны и суть ни что иное, как напоминание о тайне для острастки. В итоге слагается какое-то мозаическое мировоззрение, облекаемое мертвенными бытовыми формами и совершенно лишенное животворящего церковного духа. На защиту этого мнимого христианского мировоззрения так часто встают даже с изуверским рвением. Сокровищница Откровения, Священное Писание и Священное Предание, из ложно осторожности замыкается, и мысль питается случайными впечатлениями, бродячими мыслями и произвольными догадками.

Нужно прямо и твердо сказать о призвании нашего времени к богословию. для нас, а не для еретиков писано Слово Божие, писаны творения отцов. Странное дело, мы не боимся светской литературы, часто совсем

примрачной и больной, — и в бесстрашии отравляемся — и боимся богоглаголивых учений, и удаляемся от них — в заблуждение. Учение веры дано нам не только для защиты, но и для возрастания, не только для сохранения, но и для того, чтобы мы жили и дышали им. Мы стали возвращаться в Церковь. Возвращаться приходится всем, и родившимся, и живущим в Церкви, ибо большей частью нашего существования мы все еще вне Церкви. В этом возвращении должна участвовать и мысль. Это нужно для полноты и твердости нашего воцерковления. Это нужно еще и потому, что таковы потребности нашего времени. Лжеименное знание, заболевшая мысль воздвигает запинание на правду веры. Русская душа осаждена неверием во имя мнимой мудрости. И снять эту осаду мы сможем только тогда, когда возмужаем в мудрости истинной и, с помощью Божией, сумеем показать все богатство сокровенной премудрости Христовой, просвещающей и озаряющей весь состав человеческий. Бог владеет только смелыми, дерзающими во имя Его, с надеждою на вышнее заступление. Испытание сомнением и неверием разрешится только в творческом исповедании истины и правды. И да обновится путь благовествующих ведение Христово. Да избавимся от всякого неведения, забвения, малодушия и окамененного нечувствия, чтобы прийти в разум неизреченной Божией славы...

Георгий В. *Флоровский*

1928. V. 29. VI. 12.